

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

СНЫ С ПОСЛЕВКУСИЕМ

К юбилею О. Э. Мандельштама (1891–1938)

Я занялась Н. Я. Мандельштам потому, что меня пугает уровень общества, в котором такие люди имеют успех.

Л. К. Чуковская

В 2021 году исполняется 130 лет со дня рождения О. Э. Мандельштама – российского советского поэта, человека сложной, трагической судьбы, ставшего жертвой сначала политических репрессий, а затем – политических же спекуляций.

Сегодня о Мандельштаме так или иначе знают все. В современном литературоведении господствует взгляд на него, как на величайшего поэта России XX века. Уже давно утвердилось мнение, что Мандельштам – это гений, погибший во чреве советского Молоха. Память же и наследие гения сохранены, прежде всего, благодаря усилиям вдовы и прижизненной ещё помощницы – “нищенки-подруги”, как называл её сам поэт, – Надежды Яковлевны Хазиной-Мандельштам. Спасаясь-де от “кровавых чекистов” (а других чекистов, как мы уже поняли, в природе не существует), металась бедная Надежда Яковлевна из края в край огромной Страны Советов, волоча за собой неподъёмный чемодан с архивом погибшего мужа. Опасаясь тех самых чекистов, могущих в любой момент вырвать из рук слабой женщины чемодан и сжечь драгоценный архив, Надежда Яковлевна будто бы заучила все стихи и все варианты всех стихов наизусть. Спустя годы вдова поэта написала несколько замечательных книг воспоминаний, открыв и увековечив правду о гениальном муже и многих его современниках. В сочинениях своих она разоблачает подлецов и лжецов, а людям достойным воздаёт хвалу. В целом же её книги – бесценные копилки мудрости, беспристрастные свидетели эпохи и беспримерные ревнители свободы. На сайте Культура.рф сказано: “Его стихи, прозу, мемуары сохранила Надежда Мандельштам. Что-то она возила с собой в “рукописном чемодане”, что-то держала только в памяти. В 1970–80-х годах Надежда Мандельштам опубликовала несколько книг-воспоминаний о поэте”. Книги она действительно опубликовала, а вот насчёт всего остального стоит усомниться. И к этому мы ещё вернёмся.

Однако следует помнить, что в современном литературоведении (и не только) главенствует принцип условности и условий. Другими словами, если специалисты договорились считать Бориса Акунина последним русским классиком,

то так тому и быть. И все остальные, не разбираясь, почему это именно так, а не иначе, должны просто принять на веру суждение специалистов. Если косноязычных авторов, у которых и стены катятся, и обручальные кольца надеваются на кисть руки, и блины имеют окоём, договорились считать тонкими стилистами, то вы можете расшибить себе головы об стены, доказывая очевидное. Но тех, кто условился, сбить с условленного вам не удастся. Или, допустим, мы условились считать роман В. А. Кочетова “Чего же ты хочешь?” крайне слабым в литературном отношении произведением. Возможно, мы и объяснить толком не сумеем, чем уж он так слаб и чем слабее прочих романов. Но мы условились, и этого вполне достаточно. И вот уже президент Русского ПЕН-центра Е. А. Попов сообщает читателю, что над “тупым и бездарным сочинением” Кочетова “дружно потешались служилые конформисты, <...> его любили цитировать на пьянках богемные диссиденты”. Правда, тот же самый Е. А. Попов, отзываясь о молодом современном писателе, авторе следующих “перлов”: “Особенно часто её дразнили “старушкой” за выступающий кадык”; “Похожая на вскипевшую кастрюлю, она бодро побрякивала головой, как крышкой”; “Измученный Ван Гог снёс себе голову из ружья” и пр. в том же роде, уверяет, что написавший сие – “ученик Томаса Вулфа, Фолкнера, Аксёнова, Искандера, Саша Соколова и других столпов литературы XX века”, а произведения этого ученика столпов есть “зримое доказательство того, что русская литература, создаваемая его поколением, и сейчас способна на такой серьёзный разговор”.

И куда только подевались “служилые конформисты” и “богемные диссиденты”? Вот уж где бы посмеяться. Впрочем, кому что нравится.

Но мы отвлеклись. Дело в том, что по поводу Мандельштама тоже существует условная договорённость, переросшая в мифологию. Именно эту мифологию мы и попытаемся отчасти рассмотреть, памятуя о том, что переубедить тех, кто условился, практически невозможно. Но поскольку нас интересует истина, а не способы переубеждения кого бы то ни было, то и приступим к делу.

Итак, Осип Эмильевич Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве. Учился в Петербургском Тенишевском коммерческом училище – одной из лучших столичных школ. Поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В Петербурге общался с Н. С. Гумилёвым, А. А. Ахматовой, дружил с Г. В. Ивановым, вообще считал себя акмеистом. Входил в группу “Цех поэтов”, выступал со стихами в кабаре “Бродячая собака”. В 1913 году вышел первый сборник стихов Осипа Мандельштама “Камень”. После Октябрьской революции Мандельштам долго скитался по стране, жил в Крыму, в Тифлисе, в Киеве, пока, наконец, не осел в Москве. Здесь, в Москве, с именем Мандельштама были связаны несколько некрасивых историй, отразившихся как на репутации, так и на здоровье поэта. В 1933 году в Москве было написано стихотворение “Мы живём, под собою не чуя страны...”, из-за которого автора отправили в ссылку сначала в Чердынь, а потом в Воронеж. Это стихотворение Осип Эмильевич зачем-то по собственной инициативе прочитал девяти чловекам. А после, на допросе, охотно назвал всех по именам. Известно, что трое из девяти были репрессированы. Нельзя с уверенностью говорить, что эти обстоятельства связаны между собой, но факт остаётся фактом.

Вернувшемуся из ссылки поэту запрещено было селиться в крупных городах. Но поселившиеся в Калинин Мандельштамы упорно стремились в Москву. А когда приезжали, размещались у знакомых, почему-то не думая о том, что ставят тем самым притивших людей в сложное положение.

В один прекрасный майский день 1938 года Осипа Мандельштама, отправленного Союзом писателей в здравницу в Саматихе, снова арестовали. На сей раз по письму, можно сказать, по доносу, секретаря Союза писателей СССР В. П. Ставского, призвавшего лично Н. И. Ежова разобраться с Мандельштамом и “решить с ним вопрос”. Нарком Ежов разобрался со свойственной ему прямотой. И вскоре суд приговорил поэта к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Отбывать этот срок Мандельштама отправили на Колыму. Но до Колымы он не доехал, задержавшись в пересыльном лагере Владивостока. В том же лагере он и умер 27 декабря 1938 года. Стоит прибавить к этому, что ещё до первой ссылки Осипа Мандельштама с большой натяжкой можно было бы назвать человеком психически нормальным. Наследственность, образ жизни или ещё какие-то обстоятельство повлияли на психическое здоровье поэта, но, так или иначе, он не всегда мог отвечать за

свои поступки. Поэт, издатель, искусствовед С. К. Маковский предполагал, что “потерей умственного равновесия” О. Э. Мандельштам был обязан революционным событиям, которые “он пережил очень болезненно”.

Такова вкратце биография Осипа Мандельштама. Он не дожил до 48 лет, но его житие, спустя годы, обросло легендами и мифами, повествующими о том, как с детства он писал прекрасные стихи, как вошёл на равной ноге в круг поэтических колоссов своего времени, как был неугоден власти и затравлен, как чуть ли не дважды отправлялся в ссылку за одно и то же стихотворение, как в итоге оказался лучшим поэтом России XX века. Словно и не было Александра Блока и Николая Гумилёва, Константина Бальмонта и Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина и Андрея Белого, Сергея Есенина и Владислава Ходасевича, Георгия Иванова и Владимира Маяковского... Или вот, к примеру, выдержка из Википедии про жизнь в воронежской ссылке: “... Мандельштамы выбрали Воронеж. Жили в нищете, изредка им помогали деньгами немногие не отступившие друзья. Время от времени О. Э. Мандельштам подрабатывал в местной газете, в театре...” И снова сплошные легенды и мифы. В Воронеже Мандельштам писал очерки для газеты “Коммуна”, рецензии для журнала “Подъём”, работал на радио. С октября 1935 года он начал работать завлитом Воронежского драматического театра с окладом в 400 рублей. Сама Надежда Яковлевна признавалась, что “первое время в Воронеже материально нам жилось легче, чем когда-либо...” Чем когда-либо не в ссылке, добавим мы. И это “первое время” продолжалось два года из трёх. Э. Г. Герштейн приводит такие цифры о временах воронежской нищеты: “Стали считать заработки их за 18 месяцев. Воронеж – 7200, Москва – 14700, учитывая “подарки” родственников и знакомых, сумму оформили до 25000. Что даёт 1400 в мес. на круг, а Н. уверяла, что 700. Цифры были подсчитаны детально”. Здесь и заработки, и пенсия Осипа Эмильевича в 200 рублей, и неоскудевающая помощь тех самых “немногих не отступившихся друзей”. К слову, знакомый Мандельштамов по Воронежу поэт С. Б. Рудаков признавался, что мечтал об окладе в 200 рублей.

Но вернёмся к началу творческого пути. Дело в том, что никаких таких особенных стихов Мандельштам в юности не писал. Отношение к его творчеству в дореволюционной России было зачастую сдержанным или снисходительным. Печатали его не очень охотно, но не по тем же причинам, почему, например, авторам отказывают в публикации современные журналы – убеждения не те. Юный Мандельштам очень ценил Ф. К. Сологуба и мечтал знать его мнение о своих стихах. Но Сологуб ответил, что не имеет о них мнения. З. Н. Гиппиус вспоминала, как Мандельштам, смущавшийся до изнеможения, с мокрыми от волнения ладонями, являлся к ней читать стихи. “Стихи его были далеко не совершенны”, – писала Гиппиус. Но что-то всё-таки в них было, что-то, отличавшее Мандельштама от сонма других подобных ему молодых поэтов. Зинаида Николаевна решила отправить стихи Мандельштама в Москву В. Я. Брюсову, дабы напечатать в “Русской мысли”. Однако Брюсов только небрежно отмахнулся, заверив Гиппиус, что таких юнцов даже и с большими способностями в самой Москве хватает. Позднее при личной встрече с Брюсовым Георгий Иванов выразил удивление, что Валерия Яковлевича не тронуло ни одно стихотворение Мандельштама. Тогда Брюсов назвал Мандельштама “эпигоном” и, процитировав тютчевского “Цицерона”, сказал, что из этих строк вышел весь Мандельштам. При этом все его римские стихи не стоят ни одной строчки Тютчева. Категорически же не принял первую книгу Мандельштама “Камень” Н. О. Лернер, отмечавший, что дарование Мандельштама рядовое, незначительное, “нигде не поднимается он до настоящего вдохновения, и всё, что им сказано, “плод раздражения пленной мысли” – мысли, подчинённой чужим, более ярким мыслям и образам”. Конечно, были и положительные отзывы, однако большинство публикаций Мандельштама состоялось уже после 1917 года. В 1922 году вышла книга из 45 стихотворений “Tristia”, затем книга мемуаров “Шум времени”, повесть “Египетская марка”, сборник стихов, объединивший сочинения из “Камня”, “Tristia” и произведения, написанные в 20-е годы, а также сборники статей. Именно в Советской России Мандельштам из местечкового, кружкового поэта стал общеизвестным. Георгий Иванов, которого никак не заподозришь в любви к советской действительности, считал, что “Мандельштама физически уничтожила советская власть. Но всё же он вышел на большую литературную дорогу

одновременно с укреплением этой власти”. Правда, с лёгкой руки Н. Я. Мандельштам у исследователей принято не доверять ни Георгию Иванову, ни Ирине Одоевцевой, поскольку обоих Надежда Яковлевна окрестила “чудовищными врунами”. Но мы ещё постараемся разобраться, кто больший врун и кому стоит верить.

В той же Википедии можно найти такую формулировку о воспоминаниях Г. В. Иванова: *“При этом реальные события и факты Иванов вольно совмещал с легендами, слухами и собственными фантазиями, что вызвало резко негативные отклики некоторых современников, в частности, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. Я. Мандельштам”*. Правда, ничего подобного о самой Надежде Яковлевне, насочинявшей с три короба и оболгавшей чуть ли не всех знакомых, включая А. А. Ахматову, мы не найдём на этом ресурсе.

А пока согласимся, что в любые воспоминания неизбежно закрадывается путаница, ибо память человеческая несовершенна. Вот и Анна Андреевна была той ещё пугальщицей, подтверждением чему – воспоминания её современников. Так, например, Г. В. Адамович был очень удивлён, что в мемуарах Ахматовой ездил с нею в Павловск, тогда как на самом деле он “никогда никуда с ней не ходил”.

Но есть, во-первых, подтверждённые факты, а во-вторых, критические суждения. И то, и другое заслуживает внимания и рассмотрения. Когда Георгий Иванов пишет о выходе книг Мандельштама – здесь нечего оспаривать. Стало быть, он прав: на большую литературную дорогу Мандельштама вывела советская власть. Когда же Георгий Владимирович рассуждает о поэзии Мандельштама, он высказывает своё суждение как поэт и литературный критик, на что имеет полное право. Поэтому никаких разумных оснований отмахиваться от мемуаров и статей Георгия Иванова у нас нет. Считать разумным основанием нелюбовь к нему Надежды Яковлевны мы не можем себе позволить.

Но всё это не означает, что Мандельштама полюбили в Советской России. Относились к нему, как и прежде, по-разному: одни считали его чуждым и чужим, другие восторгались. Как до 1917 года, так и после одних восхищали образы и символы его поэзии, другие находили её холодной, умственной и даже надуманной. Когда В. П. Ставский написал на Мандельштама донос, он приложил к своему посланию рецензию, написанную ранее П. А. Павленко. Кстати, на этом основании Павленко до сих пор принято клеймить палачом. Якобы не напиши он свой отзыв о творчестве Мандельштама, тот был бы жив. Но это не так. Павленко действительно не считал Мандельштама хорошим поэтом, но губить его или как-то вредить ему не собирался. Павленко писал свой отзыв до того, как Ставский написал донос. И связан был отзыв с вопросом публикации стихов (в частности, “Оды Сталину”) Мандельштама, недавно вернувшегося из ссылки, и вообще с его дальнейшим обустройством. Отзыв Павленко был довольно резким, но в то же время не содержал в себе чего-то нового и необычного: в таком смысле о Мандельштаме высказывались и до Петра Андреевича: эта поэзия далеко не всем и не всегда нравилась, что совершенно нормально. Но почему-то неприятие Мандельштама ныне воспринимается его поклонниками как нечто отвратительное, едва ли не как политический демарш или проявление антисемитизма. В то время как нелюбовь к Маяковскому или Есенину не вызывает такой горячей реакции.

Но кроме своего неприятия стихов Мандельштама (*“Он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. <...> Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорт и проч., всё это кажется давно где-то прочитанным. <...> Много косноязычия”*), Павленко указал и на то, что Мандельштам – советский поэт (*“Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в “Стихах о Сталине” это чувствуется без обиняков, в остальных же стихах – о советском догадываемся”*). Указание на советскость стихов лишний раз доказывает, что Павленко не имел в виду погубить Мандельштама. Другое дело – Ставский, приложивший этот отзыв к доносу о политической неблагонадёжности Осипа Эмильевича. Получалось, что и поэт он так себе, и надежды на него никакой – контра, одним словом.

Но вернёмся к первым его стихам. Редактор “Аполлона” Сергей Маковский вспоминал, как в конце 1909 года в редакцию журнала явилась дама в сопровождении молодого неказистого человека и заявила, что желала бы понять, талантлив ли её сын как поэт или ему стоит навсегда оставить занятия поэзией. Юноша, сопровождавший даму, и оказался тем самым сыном,

ждавшим приговора редактора солидного литературного издания. Маковский долго, но безуспешно пытался выпроводить незваную гостью, но попытки успехом не увенчались, и пришлось читать стихи. Ничего интересного редактор для себя не нашёл и уже хотел *“отделаться от мамы и сына неопределённо-поощрительной формулой редакторской вежливости”*, но, посмотрев на юношу, Маковский увидел такое страдание, что сжалился и заверил даму в необыкновенной поэтической одарённости её отпрыска. Не ожидавшая такого ответа и растерявшаяся была дама тут же нашлась и *“разрешила”* редактору напечатать стихи сына в *“Аполлоне”*. Так началось знакомство Сергея Константиновича Маковского с Осипом Мандельштамом. И нужно сказать, что Маковский, сам поэт и художественный критик, большой знаток искусства, опытный издатель, привлёкший к сотрудничеству в бытность *“Аполлона”* лучших поэтов того времени, весьма точно и тонко определил сущность Мандельштама как поэта. При этом, отметим, в своих воспоминаниях Маковский не просто объективен, но и доброжелателен по отношению к поэту.

Когда постсоветские литературоведы и критики пишут о безупречном чувстве языка и точности слова у Мандельштама, то невольно морщитесь, читая эти штампы, не имеющие ничего общего с действительностью. Зато те, кто был знаком с поэтом ещё по Петербургу, оставили по-настоящему интересные суждения о его стихах. Именно Мандельштаму не свойственна точность слова, более того, со словом он обращался предельно вольно, что вызывало и нарекания, и вопросы ещё у акмеистов. У Мандельштама была как будто бы своя дверь в поэтический мир, открывающая перед ним и свой путь. Путь этот пролегал не через слово, а скорее через музыку слова. Представим себе человека, в чьей голове постоянно звучит музыка стиха, и смутные чувствования преследуют его, как злые духи. Поэзия клокочет в нём, ища выхода. Взволнованный мыслью или промелькнувшим чувством, он выплёскивает из себя стихи, где главное — не значение, а звучание. Причём звучание, понятное, главным образом, ему самому. Допустим, тишина для него выражается звуком *“ш”*, солнце — звуком *“л”*, тревога — *“р”*. Главное — это звуки. А образы заменяются какими-то смутными видениями, выплывающими не то из сумрака лет, не то из недр сознания, не то из других миров или снов. Временами эти видения пристают к нему в музее после простаивания перед какой-нибудь картиной или отыскиваются в сутолоке блошиного рынка.

Вот и С. К. Маковский подтверждает, что Мандельштам *“дышал магией образов и музыкой слова. Эта магическая музыка сплошь да рядом так оригинально складывалась у него, что самый русский язык начинал звучать по-новому”*. Объяснял это Маковский тем, что Мандельштам *“не ощущал русского языка наследственно своим, любовался им немного со стороны, открывал его красоты так же почти, как красоты греческого или латыни, неумолимо вслушиваясь в него и загораясь от таинственных побед над ним”*. Мандельштам был оригинален, особенно в те времена. В нём интересно и необычно переплелось влечение к поэзии, любовь к музыке слова и несколько отличное от русских поэтов восприятие языка. В сумме это сочетание дало необычный поэтический результат, одухотворённый искренностью и горячностью Мандельштама, особенно в молодые годы. Тем не менее язык его всегда оставался несколько неправильным, зачастую эти неправильности воспринимаются как стилистический приём (*“ни кровавых кровей в колесе”* (вариант — *“костей”*), *“его толстые пальцы, как черви, жирны”*), но порой просто режут слух.

О том же вспоминал и Георгий Иванов, бывший на протяжении ряда лет ближайшим другом Мандельштама, для которого, по слову Иванова, огромное значение имела окружающая среда. Талант его был *“не в его власти, а во власти той стихии музыки, образов, ритма и слов, которой он дышал. Его вечно разгорячённая, изобретательная, неустойчивая голова была переполнена противоречивыми идеями, высокой умной путаницей, которую он в минуты слабости не умел изложить, морщась от невозможности отыскать необходимое ему слово или рифму...”* Стихи его обсуждались в *“Цехе поэтов”* и здесь же дорабатывались и перерабатывались. Какие-то строки уничтожались, что-то подсказывал Лозинский, что-то рекомендовала Ахматова, а есть строфы, подаренные Гумилёвым. В Мандельштаме, по свидетельству многих его современников, причудливо уживались застенчивость и неуверенность в себе с чувством собственного превосходства и сознанием, что мир в долгу перед ним. Сомнения в правильности выбранного слова и замечания товарищей

по “Цеху” приводили порой к отказу Мандельштама исправлять ошибки. “Это просто русская латынь!” – восклицал он. Или же утверждал, что ошибка станет нормой, раз уж он так написал.

С. К. Маковский, рассуждая о стихах из книги “Камень”, приводит в качестве примера строфу из стихотворения “О временах простых и грубых...” (1914):

*...Когда с дряхлеющей любовью,
В стихах мешая Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.*

Маковский отмечает, что сказано это не по-русски. Не говорят по-русски “лошадиная карета” или “ослиная повозка”. Однако можно допустить, что эта арба так “спаяна с образом волов в варварском походе”, что становится воловьею, как, например, “лошадиный хомут”. Но Маковский же отмечает нередкое непонимание значения используемых Мандельштамом слов (“простоволосая шумит трава”). Более того, слова он часто выдумывал (“заученную вхруст”), и не всегда это выходило удачно. Временами слова связывались им на основании “слишком уж отдалённых ассоциаций”. А точнее сказать, без всяких оснований, просто по созвучию, рифме или ритму. Такова, например, первая строфа из стихотворения “В хрустальном омуте какая крутизна!..” (1919):

*В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина...*

Здесь можно говорить именно об “отдалённых ассоциациях”. Поэт описывает горы, сравнивая вершины скал со шпильями соборов. Скалы у него “сумасшедшие”, то есть непредсказуемые, пугающие. “Колючие соборы” так высоко над землёй, что в воздухе вокруг только тишина и... шерсть. Понятно, что речь идёт о пастухах, отправляющихся в горы с отарами овец и с собаками. А там, где прошли животные, остаётся их шерсть. Но ведь не в воздухе же. Именно поэтому Маковский и говорит о “слишком уж отдалённых ассоциациях”. Конечно, в горах тишина, и скалы похожи на колющие шпили готических соборов. Но шерсть в этом смысловом ряду появляется несколько неожиданно. Когда человек воспринимает тишину, он не видит шерсти под ногами или даже на колючках кустарников. И уж тем более шерсть не висит в воздухе. Да и вообще “тишина” и “шерсть” находятся в разных смысловых и даже ценностных плоскостях. С таким же успехом можно было бы написать “пух” или “пыль”. Ведь в горах живут птицы, оставляющие пух и перья. А пыль есть везде. Но “шерсть” оказалась предпочтительнее, благодаря созвучию с “тишиной”, то есть звуку “ш”. Другими словами, точности слова Мандельштам предпочитает созвучия.

Или другой пример, рассматриваемый Маковским. Стихотворение “Ламарк” (1932):

*...Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота научья,
Здесь провал сильнее наших сил...*

Понять это стихотворение рационально – ни все строфы вместе, ни каждую поврозь – невозможно. Особенно учитывая, что у пауков прекрасный слух, а провал не может быть сильнее чьих бы то ни было сил. Провал может быть глубоким, полным, внезапным, опасным, но только не “сильнее наших сил”. Стихотворение действительно посвящено Ламарку. Что ж, можно пуститься, как это неоднократно уже делали исследователи, в рассуждения о Ламарке, Дарвине, эволюции и прочих интереснейших вещах. Только при чём тут поэзия, простите? Ведь нельзя же, в самом деле, считать поэзией всё, что написано в рифму и с соблюдением ритма. Даже если при этом полно созвучий

и аллитераций. Маковский считает, что это стихотворение – замысловатая “заумь” и логическая бессмыслица. Но читать его следует не как обычную поэзию, а как выражение ощущений через нагромождение слов и звуков. Только в этом случае можно ощутить то, что ощущал поэт при его написании. И это касается почти всего Мандельштама. В каком-то смысле он действительно уникален: при помощи хаотического нагромождения слов он умудрялся передавать чувства и производить впечатление. Но при разборе многих его стихотворений получается ерунда: слова сходят с ума и не значат того, что должны значить (“И слышно, как булькает влага // По трубам внутри батарей”). Падежи пляшут (“чернила и крови смеситель”), а образы настолько неточны и далеки от жизни, что при ближайшем рассмотрении оказываются либо полной бессмыслицей, либо предметом разноречивых толкований (“Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето”). Однако отмеченные Маковским качества – искренность, честность, непрерывное горение Мандельштама, какая-то непреходящая нервность и плюс к этому психическая неуравновешенность – позволили поэту создать нечто очень особенное, неповторимое без обладания точно таким же набором качеств.

В этом смысле он близок к А. Н. Вертинскому, подражать которому невозможно, потому что для подражания необходим набор качеств, не всегда встречающихся вместе. Можно пародировать Вертинского, изображать его. Но подражать ему или стать его продолжателем невозможно, не обладая аналогичными голосом, манерой, произношением, искренностью, своеобразной харизмой, артистизмом вообще и пластикой, в частности.

Чтобы избежать обвинений в голословности, приведём ещё несколько примеров в подтверждение этой необычности Мандельштама. Возьмём его лучшие или, как говорится, программные стихотворения. Например, любимое многими “Жил Александр Герцович...” (1931):

*Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверхивал,
Как чистый бриллиант...*

Прочитав стихотворение целиком, вы понимаете, что это рассказ об увлечённом музыкой человеке. Что бы ни происходило, с ним навсегда останется музыка, а с музыкой и смерть не страшна. Что ж, прекрасно. А теперь просто прочитаем внимательно первую же строфу. Жил музыкант и наверхивал Шуберта, как чистый бриллиант. Обычно сравнения используются для того, чтобы подчеркнуть какие-то свойства явления или обозначить эти свойства ярче. Когда мы говорим: “Бежал, как лань”, – это значит, что бежал очень быстро, потому что так бегают лани. Вот и Мандельштам хотел бы, чтобы мы лучше представили, как именно Александр Герцович обращался с музыкой Шуберта, и чтобы лучше поняли, как именно он играл. И что же мы можем понять из сказанного? Как обычно наверхивают чистые бриллианты? А если бы бриллиант был не очень чистым, это изменило бы ход вещей? И что такое вообще “наверхивать”? Что это значит – наяривал или играл по кругу? Вторая строфа добавляет ясности:

*И власть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл (вариант – “твердил”) он наизусть...*

Значит, играл по кругу одно и то же. Правда, тут невольно подумаешь, что слово “вхруст” выдуманно специально ради рифмы и ритма. Да и ситуация с наверхиванием чистого бриллианта так и не разъясняется до конца стихотворения. Надо сказать, что это типично для Мандельштама: в целом стихотворение производит какое-то впечатление, но, начав разбирать его или хотя бы читать внимательно, видишь слова, расставленные едва ли не в случайном порядке. Разбирать стихи Мандельштама – занятие необыкновенно интересное и увлекательное. Тем более большинство его поздних стихов не воспринимается без пояснений или толкований специалистов. А читая внимательно, всякий раз задаёшься вопросом о месте и значении тех или иных

слов. Кстати, это касается не только поэзии. В прозе и публицистике Мандельштам не менее интересен и ярок: “Ван-Гог харкает кровью, как самоубийца из мебелированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся, как жёлоб в электрическом бешенстве...” “Путешествие в Армению” (1931–1932).

Но вернёмся к стихам. Вот, например, стихотворение “Чтоб, приятель и ветра, и капель...” (1937). Лучше процитировать его целиком, иначе невозможно оценить масштаб абстракции и глубину иносказания:

*Чтоб, приятель и ветра, и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках зари.*

*Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.*

*То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец, —
Ещё слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец...*

*Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощанье отдав, в верещанье
Мир, который, как череп, глубок;*

*Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.*

*Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.*

Абстрактная, беспредметная поэзия существовала и до Мандельштама. Вспомним хотя бы гумилёвский “Лес”:

*...Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой,*

*Но в короне из литого серебра,
И вздыхала, и стонала до утра,*

*И скончалась тихой смертью на заре,
Перед тем как дал причастье ей кюре...*

Но при том, что нет на свете ни женщин с кошачьими головами, ни кюре, который согласился бы причащать таких женщин, да и причастить бы кюре не смог уже покойную, мы ясно видим изображённое поэтом и прекрасно понимаем значение написанного.

У Мандельштама в конце появляется Франсуа Вийон, называемый Виллоном, и рассказ вроде бы обретает сюжетность. Однако первые две строфы остаются темны и туманны. Причём если во второй строфе при скрытом от читателя смысле хотя бы понятно, кто и что делал, то в первой строфе непонятно вообще ничего. Что касается музыкальности и особенного звучания, то и тут не задалось. Стихотворение написано трёхстопным анапестом, с добавлением

одного (в первой, третьей, четвёртой и шестой строках) и двух (во второй и пятой строках) безударных слогов в конце первой и третьей строк. При выбранном размере с безударным первым слогом в первой строке сочетание слов “чтоб, приятель”, где подряд идут три согласные, две из которых парные (“б”/“п”), попросту не звучит – звуки сливаются, а смысл теряется. Сочетание же слов “сохранил их”, при неясном к тому же смысле, воспринимается на слух как “сохранились”.

Третья строка второй строфы выстроена с нарушением фонетической нормы: “Мертвецов наделял всякой всячиной”. В слове “всякой” ударение скрадывается ярко выраженной ритмичностью стихотворения, и фонетическая погрешность отчётливо слышна, при этом она не обоснована никакими художественными задачами. Втискивание двух близких по звучанию слов в одну стопу (“всякой всячиной”) создаёт звуковой сумбур, выражающийся в поспешном, захлёбывающемся чередовании “ся-ся”. И эта фонетическая погрешность так же легко определима на слух.

Вторая строфа вообще особенно примечательна. Здесь над каждым словом можно поставить знак вопроса. Что такое “государственный стыд”? И почему он украшался собачиной (надо понимать – мясом собак), да к тому же ещё отборной? Анубис тут ни при чём – это не отборная собачина, и никакой стыд ею не украшался. Почему стыд наделял мертвецов всякой всячиной? Понятно, раз речь идёт о Египте, то имеются в виду ритуалы захоронений. Но при чём здесь эти ритуалы? И почему стыд торчит пустячком пирамид? Опять же: рационально ответить на эти вопросы невозможно. Остаётся иррациональный путь. Что ж, вот, например, доктор филологических наук, профессор РАН, зам. директора Института славяноведения РАН, главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований (РГГУ) Ф. Б. Успенский подсказывает нам, что “в строках “украшался отборной собачиной / египтян государственный стыд” явно эксплуатируется существование социально-исторического термина “государственный строй”. Собственно говоря, в одном из вариантов именно это сочетание, “государственный строй”, и фигурировало, лишь потом оно было заменено на “государственный стыд”. <...> “Реконструированное” же “государственный строй”, коль скоро речь идёт об изображениях на колоннах храмов, в пирамидах и в гробницах, ассоциируется, в свою очередь, не только с терминологизированной идеей политического устройства, но и с мыслью о грандиозном строительстве как таковом”. Прекрасно! Правда, это ничего не объясняет, а в качестве аргумента почему-то предлагается “явно”, что не очень-то коррелирует с научными регалиями Ф. Б. Успенского. Кроме того, “строй” никак не рифмуется с “пирамид”. Поэтому в том самом варианте со “строем” вместо “пирамид” должно было быть что-то другое. Но что? Почему профессор Успенский умалчивает об этом?

Вероятно, под собачиной, государственным стыдом и пирамидами следует понимать сталинскую Россию и вообще тоталитаризм как таковой. Но в таком случае и при таком подходе поэзия рискует превратиться в пирамидологию, где умножение, деление и сложение длины, высоты и ширины способны дать любые необходимые результаты – благо циферок много.

А если заменить вторую строфу стихотворения на такие слова:

*Пробавлялся отменной кошатиной
Египтян государственный страх.
Оделив подневольных тухлятиной,
Процветал фараон-вертопрах...?*

Много изменилось? Потеряло стихотворение смысл? .

Признаться, порой создаётся впечатление, что такие или подобные стихи может писать любой человек. Но впечатление это, по всей видимости, обманчиво. Поскольку, повторимся, чтобы идти вслед за Мандельштамом, нужно особое устройство нервной системы и психики, своеобразное мышление и определённый культурный багаж, как личный, так и родовой. Стихи Мандельштама похожи на сны, оставляющие послекусие, но отдающие спутанностью сознания. И толковать эти стихи – всё равно, что толковать сновидения.

Мандельштамоведа уверяют: чтобы понимать стихи Осипа Эмильевича, нужны огромные знания. Но то же самое необходимо для понимания и любой

поэзии, кроме, конечно, дворовой. А толкования стихов Мандельштама всё равно получаются разноречивыми и вариативными. В то время как с пониманием, например, Блока ничего подобного не происходит:

*...Мы помним всё — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных роц далёкий аромат,
И Кёльна дымные громады...*

Без культурного багажа здесь тоже не обойтись. Однако, заглянув в рюкзак знаний, можно извлечь оттуда сведения и о Великой французской революции, и о вольном граде Венеции, и об итальянских пейзажах, связанных с историей, и о немецкой промышленности, связанной с войной. Здесь нет и не может быть разночтений, принцип “кто во что горазд” тут не работает. Потому что это именно стихи, а не сновидения.

Георгий Иванов, следивший из эмиграции за творчеством коллеги и друга, дал такую оценку его поэзии: “Творчество Мандельштама после “*Tristia*” из года в год, как со ступеньки на ступеньку, неизменно понижается <...> “Пиши безобразные стихи, если можешь, если умеешь... Постарайся превратить в “заумь” классически ясную образность, обесцветь и засуши до тусклой коллочки драгоценную игру своего словаря, возвысься до хлебниковской зауми, доведи крайности Пастернака до абсурда, оснасти поэзию по законам татлинских конструкций, добейся, чтобы всё это слилось в идеальную гармонию уродства...” Приблизительно таков был творческий вкус, поставленный себе Мандельштамом”.

Но стоит помнить, что дар Мандельштама — это не совсем уж дар поэта. Во всяком случае, не поэта в привычном, классическом смысле слова. Творчество его — это не вполне поэзия, как не вполне поэзия ариетки Вертинского. До сих пор, думается, название этому жанру ещё не придумано. Впрочем, не стоит и торопиться. Интересно сейчас другое: несмотря на эту оригинальность, на создание им необычного искусства, можно ли говорить о Мандельштаме как о гениальном поэте? И откуда вообще взялось утверждение, что Мандельштам — гений и лучший поэт России XX века? На этот вопрос, как ни странно, существует прямой и неоспоримый ответ. В 1977 году Н. Я. Мандельштам давала интервью британской славистке Элизабет де Мони. Среди прочего британка спросила:

“— Ваш муж теперь признан и известен на Западе как гений, можете ли Вы сравнить его с каким-нибудь другим поэтом его поколения?

— Конечно, Пастернак, а больше никого, — ответила Надежда Яковлевна.

— И больше ни с кем? — изумилась Элизабет.

— Ну, женщины... Ахматова, Цветаева, но я думаю, что это дешёвка по сравнению с Пастернаком и Мандельштамом”.

То, что Мандельштам стал для Запада гением, это неудивительно. Ещё бы! Советская власть уморила, да к тому же еврей. А вот насчёт того, что и сравнить не с кем, что гений — это, воля ваша, какая-то гипербола, понятая кем-то буквально.

О Надежде Яковлевне просто необходимо особо сказать несколько слов — настолько прочно её образ прилепился к образу мужа. К юбилею поэта один из современных мандельштамоведов П. М. Нерлер в интервью “Литературной газете” назвал Надежду Яковлевну конгениальной Осипу Эмильевичу. Далее опять, конечно же, последовали истории о чемодане и памяти, а также заявления о спасении вдовой великой поэзии и архива поэта от “рук брэдобреев”. “После этого она и сама вышла из тени: сев за мемуары, написала несколько великих проз (“Воспоминания”, “Об Ахматовой”, “Вторая книга”, “Моцарт и Сальери”, комментарии к стихам Осипа). И это уже не Осип Мандельштам, это Надежда, со своей оригинальной поэтикой и выстраданно субъективной оптикой, с такой же, что и у Осипа, “аккомодацией хищных птиц”, когда глаз видит очень далеко, но только самое центральное и главное, пренебрегая периферией”. Вот после таких заявлений просто необходимо разобраться как с “оригинальной поэтикой”, так и с “субъективной оптикой”. К тому же, раз уж мы прибегли к воспоминаниям заклеимённого Надеждой Яковлевной Георгия Иванова, нам также необходимо выяснить, кто из них больше врал и кому всё-таки можно верить.

К сожалению, в рамках одной статьи нереально изложить всё множество фактов и размышлений по их поводу. Поэтому для начала мы просто перечислим несколько положений, касающихся Надежды Яковлевны и заслуживающих особого упоминания. Прежде всего, никакие чекисты за ней не гонялись и никакой чемодан у неё не отнимали. Более того, архив Мандельштама хранился не у одной Надежды Яковлевны, части этого архива находились у Н. Е. Штемпель, у Е. Я. Хазина, у Н. И. Харджиева, у братьев Бернштейн, у Э. Г. Герштейн, у Э. Г. Бабаева. Так что история скитаний с чемоданом – это чистой воды вымысел. Зато чистая правда, что собранный, а кое у кого и отобранный архив она подарила впоследствии американскому слависту Кларенсу Брауну, который вывез архив в США, а после передал в Принстонский университет.

Некоторые стихи своего “гениального мужа” Надежда Яковлевна правила по собственному усмотрению уже после его смерти, а заодно приписывала себе посвящения стихов, посвящённых поэтом другим дамам. В своих книгах Надежда Яковлевна наврала столько, что разгрести эту ложь придётся не одному поколению исследователей, если, конечно, истина ещё кого-то интересует, а какие-то исследователи ещё останутся в стремительно меняющемся мире. Ею оболганы десятки людей, оплёвано множество могил. Тем, кто оказывал ей благодеяния, она оплатила чёрной неблагодарностью, обманывая, подличая, клеветая. Досталось, в частности, и Н. Н. Харджиеву, и другу дома Б. С. Кузину, и А. А. Ахматовой. И неспроста Л. К. Чуковская, написавшая книгу “Дом поэта”, посвящённую разоблачению вдовы Мандельштама, заявила: “Я занялась Н. Я. Мандельштам потому, что меня пугает уровень общества, в котором такие люди имеют успех”. Увы, в современной России такие люди не просто имеют успех, но и стоят на пьедестале. Более того, у Надежды Яковлевны нашлась армия защитников или, лучше сказать, адептов, подыскивающих оправдание всему, что бы она ни делала. Даже и Лидия Чуковская, посмевшая возразить и попытавшаяся сказать правду, немедленно оказалась под ударом. Кто-то из присных Надежды Яковлевны в ответ на возмущения Чуковской клеветой, ложью, оговорами и прочей подлостью в книгах Н. Я. Мандельштам заявил: “Не нравится – не читайте”. Вот вам и уровень общества.

А ведь Л. К. Чуковская – не единственный человек, восставший против хамства. В 1970-е годы вдова Георгия Иванова поэтесса Ирина Одоевцева написала открытое письмо Н. Я. Мандельштам в ответ на её “Вторую книгу” (Надежда Яковлевна не “заморачивалась” названиями своих книг). Письмо Одоевцевой строится вокруг следующего положения: “В том, что в созданной вами легенде о нём Мандельштам потерял свой трёхмерный человеческий облик и приобрёл новые мифические черты, ещё ничего дурного нет. Это естественно. Но дурно то, что вы в порыве своего мифотворчества яростно набрасываетесь на всех авторов воспоминаний о Мандельштаме, показавших его таким, каким он был на самом деле”. Прибавим к этому, что набрасывалась Надежда Яковлевна не только на авторов воспоминаний. А вот Ирина Владимировна, хоть и обиженная вдовой Мандельштама, не позволила себе ни одного грубого слова, ни одного хамского выпада. Напротив, её письмо – образец высокой культуры и благородства.

И ещё один характерный эпизод, могущий рассказать о “пренебрежении периферией”. Надежда Яковлевна, очень требовательная к людям в отношении себя и “Оськи”, как она величала мужа, не считала нужным проявлять такую же требовательность к самой себе. Это отмечала хорошая знакомая Мандельштамов режиссёр и художник Е. Е. Попова, записавшая в дневнике 17 июля 1937 года: “Этот непроходимый, капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим бедам и болям. В их воздухе всегда делается “мировая история” – это их личная судьба, это их биография. В основном постыдная, безотрадная, бессобытийная, замкнутая судьба двух людей, один из которых на роли премьера, а другая – вековая классическая плакальщица при нём”. В книгах Надежды Яковлевны можно найти огромное количество подтверждений этим словам: не туда поселили, не так заплатили, мало дали, несправедливо рассудили, эти не заступились, те промолчали... И так далее до бесконечности. Но зато, когда в 1975 году в защиту А. Д. Сахарова, получившего Нобелевскую премию и нарекания от советской власти, в интеллигентской среде начался сбор подписей,

подписать отказались лишь двое. Одной из этих двоих была Надежда Яковлевна. Свой отказ она обосновала тем, что *“первый раз в жизни у меня отдельная уборная”*. Побоявшись расстаться с собственным унитазом, Надежда Яковлевна не проявила той боевитости, которой обычно требовала от людей и за отсутствие которой не скупилась на эпитеты.

О Надежде Яковлевне можно рассказать ещё много интересного. Полезно было бы перечислить всю ту, мягко говоря, путаницу, что содержится в её *“великих прозах”*. А заодно рассказать об истинном её отношении к несчастному Осипу Эмильевичу, которого эта нежная и верная жена с орлиным зрением ласково называла *“мой дурак”* и о котором как-то бросила при посторонних: *“Видала, что детей и стариков ссылают, но чтобы обезьяну сослали – первый раз вижу”*. Можно было бы вспомнить, почему долго не выходил томик Мандельштама в *“Библиотеке поэта”*. Отдельного рассказа заслуживает и *“Ода Сталину”* О. Э. Мандельштама. А также история вокруг перевода *“Тилля Уленшпигеля”* Шарля де Костера, из которой провинившегося Осипа Эмильевича последователи Надежды Яковлевны вывели мучеником и невинно пострадавшим. Нельзя обойти вниманием и драки Осипа Мандельштама то с Амиром Саргиджаном, то с Алексеем Толстым. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.